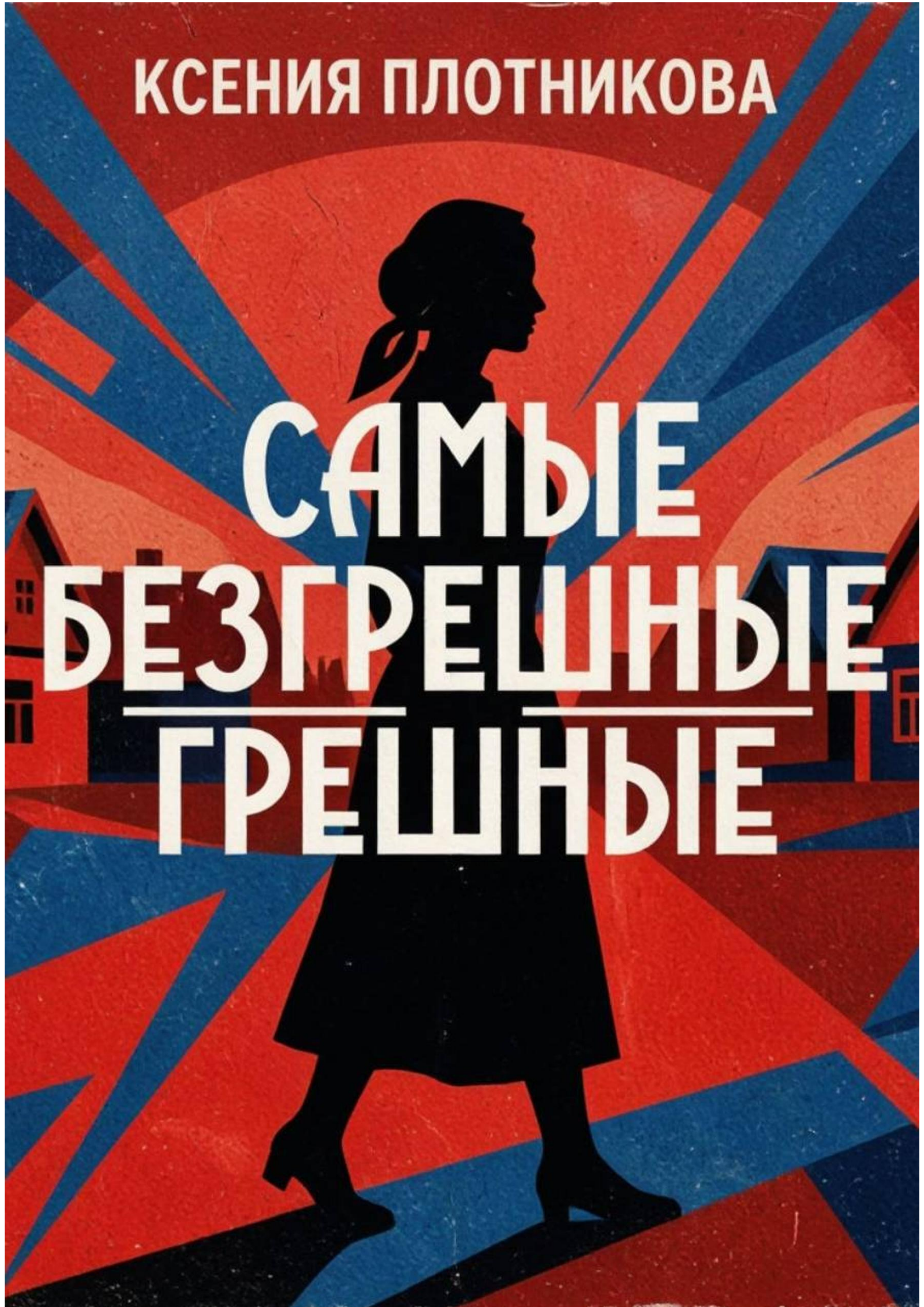
КСЕНИЯ ПЛОТНИКОВА



САМЫЕ БЕЗГРЕШНЫЕ ГРЕШНЫЕ

Ксения Плотникова

Самые безгрешные грешные

«Автор»
2026

Плотникова К. П.

Самые безгрешные грешные / К. П. Плотникова — «Автор», 2026

Лиза ушла из деревенского дома мужа-председателя три года назад — ночью, через чёрный ход. В городе у неё комната в коммуналке и долгожданная тишина. А потом приходит письмо от Зои — пятнадцатилетней сестры мужа, единственного человека в том доме, кто умел улыбаться: «Лизонька, возьми меня к себе, когда закончу девятый». Лиза прячет письмо под квитанции и не отвечает. Через одиннадцать дней приходит второй конверт — со справкой из больницы.Теперь ей придётся вернуться туда, откуда бежала: на похороны девочки, которую она не спасла, — в дом, где правит свекровь, для которой город — «чёрная прорубь», а умная жена — беда. Но похороны только открывают счёт: правда, которую посёлок прятал годами, выйдет наружу — и заплатить за неё придётся дороже, чем можно было представить.«Самые безгрешные грешные» — посвящается тем, кто однажды рискнул выйти за калитку.

© Плотникова К. П., 2026
© Автор, 2026

Ксения Плотникова
Самые безгрешные грешные

САМЫЕ БЕЗГРЕШНЫЕ ГРЕШНЫЕ

повесть

Глава 1. Письмо

Письмо пришло в четверг, с вечерней почтой.

Я увидела его через окно: почтальонша Валя шла по двору, придерживая клеёнчатую сумку локтем, и смотрела на наш третий этаж так, будто уже знала, кому несёт. В нашей коммуналке все всё знали раньше, чем это случалось.

На конверте был обратный адрес — наш посёлок, наша улица, рука Зои. Я узнала её почерк ещё до того, как перевернула конверт: круглые, старательные буквы, как у отличницы, какой она и была. Между «дорогой Лизоньке» и адресом она всегда рисовала маленький крестик — потому что верила, что так письмо не заблудится. Мать Вовы научила. Та самая мать Вовы, чей дом я покидала бегом, ночью, через чёрный ход, оставив на столе записку и все кольца, кроме обручального. Обручальное я тогда сняла тоже — но передумала и надела обратно. Не из любви. Из какой-то жадности, что ли: это было единственное, что я увезла с собой, не купив.

Я села у окна. За стеклом октябрь уже заканчивался — мокрые тополя стояли голые, и дворник у мусорки жёг листья, и дым от костра шёл не вверх, а вдоль земли, как будто и ему было лень.

«Дорогая Лизонька. Пишу тебе и не знаю, дойдёт ли: Ванька с почты говорил, что до города теперь долго идёт. У меня всё хорошо, я заканчиваю девятый класс, на медаль не тяну, но Тамара Александровна сказала, что у меня способности к рисованию, и что в городе есть техникум, где учат на художника-оформителя. Лизонька, возьми меня к себе, когда закончу. Мне пятнадцать только, в школе говорят, что девятый класс закончу — и можно ехать. Я всё умею: и готовить, и штопать, и нянчиться. Я очень скучаю по тебе, здесь без тебя никто не смеётся. Приезжай хоть на похороны тёти Нюры, а лучше просто так. Твой крестик я в поле нашла, тот, серебряный, ты уронила давно, я храню».

Внизу была приписка: «Мама не знает, что я тебе пишу. Не говори ей».

Эту приписку я перечитала трижды. Она сказала о Зое больше, чем всё письмо.

Мать Вовы — Марья Петровна, я звала её «мама» два года, пока не разучилась, — не пускала Зою дальше огорода. Я сначала думала, что она, скупая или больная, а потом поняла: ни то и ни другое. Она была убеждённая. У неё в голове была готовая картина мира, и в этой картине город стоял чёрной прорубью: там разврат, там женщины с накрашенными глазами — все до одной, — там девушку увозят в дом терпимости прямо с автовокзала, там теряют душу и совесть, а потом не находят. Я сама в первый день слышала, как она говорит Зое через сенцы: «Посмотри, что с ней стало. Мало ли что. Мало ли что». Слово «техникум» в том доме произносили как диагноз.

— Куда собралась? — спрашивала Марья Петровна, когда Зоя шла к подружке через два дома. — Вечером хозяйство. Твои рисунки пускай в городе рисуют, у них время есть на эти глупости. А у нас корова, а у нас хозяйство. Замуж выйдешь за хорошего парня, за Степана, что ли, — он тебе и так полжизни покажет, к чему тебе эта глупость.

Степана Зоя боялась. Не любила — боялась, и все в посёлке знали, и все молчали, потому что мать Вовы была женщина «правильная»: крестила, постилась, по храмам ходила, со всеми справлялась, у кого беда — к ней шли. И при этом Зоя в свои пятнадцать лет мыла полы за всю семью, не могла выйти за калитку без доклада и рисовала в свободные минутки — я это видела один раз — в тетради в клеточку, пряча лист под задачник по алгебре, как преступница.

Тамара Александровна, учительница, как-то при всех сказала: «Марья Петровна, да что ж вы девочку-то душите, дайте ей в город вырваться, учиться». Марья Петровна ответила ровно, без злобы, и от этого ответа мне стало холодно:

— Учиться? Выучится — умная, больно, станет. А умная жена – в доме беда. Я вот неучёная, а дом стоит, и дети при доме. А город этих выученных каких вырастил? Раздетых, да развращенных!

Тамара Александровна тогда сжала губы и больше не подходила.

Тот крестик, про который писала Зоя, я, кстати, не роняла. Я его выбросила — в тот день, когда ушла.

Я сложила письмо так же аккуратно, как оно лежало в конверте, и убрала в нижний ящик стола — под старые квитанции и полосатую тетрадь, куда я когда-то переписывала чужие стихи. Не потому что письмо было плохое. Потому что ответ на него у меня не помещался в слова. «Возьми меня к себе» — в четырёх словах вся Зоя: она даже просить училась тихо, заранее готовая к отказу. А я знала, что если напишу «приезжай», то Марья Петровна узнает об этом письме к вечеру того же дня — в посёлке у неё глаз было больше, чем у парторга. И что будет с Зоей после?

Поэтому я не ответила. Я сказала себе, что не отвечаю «пока». Так, наверное, говорят все, кому потом всю жизнь нечем дышать по ночам.

— Опять от него? — Олеся стояла в дверях, вытирая руки полотенцем. Рыжие волосы у неё были вечно повязаны платком, а под платком всегда на одну прядь больше порядка, чем у меня. — Ну что молчишь? От кого письмо, Лиз?

— Не важно, — сказала я. — От свекрови. Зовут на поминки.

Она не поверила — я видела, как не поверила, у неё между бровей залегла маленькая складка, честнее любого слова. Но спросить второй раз не посмела: я умела смотреть так, что у нас в комнате даже тараканы замирали.

— Лиз, — сказала она всё же, уже с порога, уже в коридор, — а чего ты вся такая? Третий день ходишь, все смотришь в окно, как в поликлинике на очередь.

— Устала, — сказала я. — Олесь, иди. У тебя сковородка...

Сковородка не пригорела. Олеся не ушла — села напротив, положила локти на стол и стала смотреть, как я смотрю в окно. Мы просидели так, наверное, минут десять. В коммуналке за стеной у Клавдии Ивановны загремел примус, запахло керосином и подгоревшей манной кашей — и это был весь вечер, все мои три года в этом городе: керосин, чужая каша и окно.

— Знаешь что, — сказала наконец Олеся, — а по мне, так эти твои деревенские сами виноваты. Сама жила у свекрови — да, месяц всего, а хватит. Эта тиранша твоя, которая детей под замок. Моя тётка такая же была: в церковь водила, а дома за косу о притолоку. Целый дом набожных — это не храм, Лиз. Это СИЗО с иконами.

— Ты откуда знаешь про притолоку?

— Видела, — сказала Олеся с достоинством человека, который всё видел.

Я не ответила. Мне хотелось сказать ей правду — что Зоя не виновата ни в чём, что Зоя — единственный человек в том доме, к кому я шла с горячей картошкой и кто улыбался мне по-настоящему, не как невестке старшего брата, а как человек человеку. Что сестра моего мужа, которой через полгода исполнится шестнадцать, написала мне письмо, полное надежды, — а я его спрятала под квитанции, потому что ехать обратно в тот посёлок не могла и не хотела, ни за какие рисунки, ни за какую Зою.

Но я не сказала ничего. Я сказала:

— Олесь, ты все-таки глянь за сковородкой? Я к Клаве, спрошу, может есть что-то из солений.

Солений мне не было нужно. Мне нужно было, чтобы кто-нибудь в этой квартире минуту посидел за меня моей жизнью, пока я схожу в ванную и под холодной водой вспомню, как дышать.

Письмо Зои лежало в столе одиннадцать дней. Я их считала, как больные считают дни до операции, — не собираясь ничего делать, просто считая.

На двенадцатый день, утром, Олеся постучала мне в дверь так, как не стучат по мелочи. Она держала в руке ещё один конверт — тот же почерк, тот же крестик в углу, — и лицо у неё было белое, как полотно.

— Лиз, — сказала она. — Это опять оттуда. Только Валя говорит — там не одно письмо, там справка какая-то вложена. Из больницы.

Я открыла конверт прямо в коридоре, не снимая пальто. Зоин почерк дрожал — а дочитывать было не нужно, потому что дальше шёл другой лист, машинописный, с печатью, и от машинописного листа пахло официальностью, как от могилы пахнет землёй.

Сестры моего мужа не стало.

Глава 2. Обратная дорога

Электричка уходила в семь утра, и я ехала в ней как в третьем лице: вот женщина у окна, вот у неё чемоданчик, вот она смотрит на провода, которые подрагивают на стыках вагона. К этой женщине мне не хотелось относиться на «ты».

Билет я брала до нашей районной станции, а дальше сорок минут пешком — или попутка. В тот день я не знала ещё, что пешком.

Вагон был тёплый и пах соляркой, семечками и мокрой шерстью — кто-то вёз овчарку, и овчарка дышала мне в колено. Напротив, дремала старуха с узлом, и узел жил отдельно от старухи: рыжая курица в нём иногда поднимала голову и осматривалась с видом пассажира, который едет дальше всех.

Два часа дороги — и я успела за них вспомнить всё, что собиралась никогда не вспоминать.

Я выходила замуж в девятнадцать. Вова увидел меня на местном празднике, подошёл, постоял рядом и сказал: «У тебя лицо ангела, только оно грустное. Почему оно грустное?» Я не знала, что ответить, а он, кажется, и не ждал ответа: он уже всё решил. Мать его, Марья Петровна, обрадовалась сразу — я была, по ее меркам «правильная», носила юбки, без косметики, и на вопрос о вере ответила, что крещёная. Этого хватило. Свадьбу сыграли через два месяца, и я помню, как стояла под венцом и чувствовала себя не невестой, а вещью, которую наконец передали по назначению.

Первый год я ещё спорила. На второй — перестала, потому что спорить с Вовой было всё равно что спорить со стеной: он был на два года старше, на три головы выше и на сто процентов уверен, что любит меня. И в каком-то смысле он не лгал. Он любил меня так, как любят иконы: поставит в красный угол, защитит от всякого, кто усомнится, — и говорить с ней не о чем.

А потом появилась Вера. Из соседней деревни, приехала к тётке в помощь на лето. Вова называл это «случилось», и в этом слове была вся его система защиты: не он согрешил — случилось. Как дождь. Как град. Господь послал.

Я узнала не по запаху и не по запискам — я узнала, потому что он перестал прятаться. Вове прятаться было невмоготу: совесть — штука правильная, а привычка сильнее. Он спал с Верой в летней кухне и ходил потом в храм, и на исповеди, как я потом узнала от Зои, каялся в прелюбодеянии — но не бросал Веру. Зоя шептала мне это за огородом, зажмурившись: «Он кается, Лизонька. Каждый пост. А потом всё равно к ней». Мне тогда почему-то стало её жалко — не себя.

Свекровь знала. Конечно, знала: у Марьи Петровны всё в посёлке было как на ладони, а сыновья не бывают неправы. Она сказала мне одну фразу на всю жизнь: «Все мужчины такие, Лизавета. Ты потерпи и молчи, а он тебе спасибо скажет». Она не считала это изменой. Она

считала это устройством мира, как считала, что в город съездить нельзя, а картошку копать в Богородицу — можно, потому что «Господь так дал».

Когда я уходила, я не скандалила. Я собрала узел, дождалась, пока все легли, и пошла через двор, мимо летней кухни — там горела свечка, и я слышала, как они смеются, тихо, вполголоса, — и у меня в этот момент случилось самое страшное: не злость, а тишина. Как будто выключили свет. Я поняла, что там, внутри меня, больше никого не осталось, кому это всё адресовано.

На выходе я столкнулась с Зоей — она сидела на крыльце сеней, не спала, смотрела на меня огромными глазами. Я присела перед ней, взяла за плечи и сказала: «Ты только не сдохни здесь. Я тебя потом заберу, слышишь?» Она закивала. Я до сих пор не знаю, было ли в моих словах обещание или предсказание.

Электричка в это время чиркнула по стыку, и курица в узле проснулась окончательно.

Дальше я думала о похоронах. О том, что надену — не то чёрное платье, в котором приехала в город, а второе, тёмно-серое, купленное в секонд хенде. О том, что свекровь скажет. О том, что Вова, наверное, пьёт. Об этом, мне сказала одна местная тетка, когда я встретила ее в автобусе, и сказала со злорадством, потому что Веру она не любила: «Твой-то совсем спился, Лизавета, глядишь — и окочурится». Я тогда не ответила. Сейчас в вагоне я поймала себя на том, что этой фразой грелась. Что я, может быть, хотела, чтобы окочурился. От этого открытия меня замутило, и я вышла на платформу с сухим, ватным лицом.

На станции дождь начался ещё до того, как я вышла к зданию. Не осенний — зимний по характеру, прямой и злой, с крупой. На перроне стояло трое: старуха с мешком, парень в телогрейке и я. Пассажиры разошлись под навес, и я осталась одна, потому что идти мне было в ту сторону, где нет навеса.

Попутки не было. Я шла пешком четыре километра по грязи, и грязь прилипала к сапогам, и я вспоминала, как эту дорогу когда-то хотела полюбить: первый год замужества я правда пыталась. Ходила с вёдрами, с корзинами, с Зоей за руки, и думала: привыкну, все так живут. Дорога была старая, разбитая, с лужами цвета олифы, и теперь она мне казалась дорогой не к дому, а от него — задом наперёд.

Дом я увидела издалека. Он стоял, как всегда, крепко и гордо — большой, рубленый, с наличниками, с крашеным крыльцом, с двумя сараями, баней и погребом, со всем этим хозяйством, ради которого не пускают людей в город. Во дворе мелькала красная кофта — Вера, — и я почувствовала, как сжимается что-то под рёбрами, простое и физическое, как перед рвотой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.